

Диссидент Леня, или Апология сумасшедшего

Весной 1969 года мы переехали в общежитие на Ленинских горах. Все было приятно взволновано, шаг на "высотку" рассматривался как завершение некоторого переходного периода во взрослую жизнь и большую науку.

Наша радость была недолгой. По этажу поползли слухи, что среди нас объявился диссидент. Потом стала известна официальная версия случившегося. Леонид Наклеушев, студент нашего факультета, был "уличен" в чтении дореволюционной книги М.О. Гершензона "Чаадаев. Жизнь и мышление". Книга содержала "Философические письма" и "Апологию сумасшедшего" П.Я. Чаадаева. Мы были больше смущены, чем возмущены. Запрещать Чаадаева, который был одним из героев "Былого и дум", другом декабристов и наставником молодого Пушкина? Это было уж слишком!

Но дальше больше — Леню отправили лечиться в психушку. Мы его видели по возвращении, он иногда выходил в коридор, но вел себя странно — рассматривал проходящих мимо невидящим потухшим взглядом, не вступал ни в какие разговоры, вел жизнь затворника. Мы ни разу не видели его на лекциях или семинарах. Спустя пару месяцев этот "отшельник высотки" был отчислен из университета. Я увидел его спустя двадцать лет на телевизионном экране — Наклеушев эмигрировал в США и стал профессором философии известного американского университета. В каком-то смысле он повторил судьбу самого Чаадаева. Разница была лишь в одном: сам Чаадаев с момента опубликования "Философических писем" стал невыездым.

История Наклеушева вызвала у нас, курсников, моду на Чаадаева. Мы гадали, какие мысли нашего предшественника — Чаадаев учился в допозарном Московском университете в 1808-1811 годах — могут рассматриваться в качестве крамольных? А Чаадаев писал: "Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истину, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, гораздо более нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого". "Вся история нового общества происходит на почве убеждений. Значит, это настоящее воспитание. Утвержденное с самого начала на этой основе новое общество двигалось вперед лишь под влиянием мысли. Интересы в нем всегда следовали за идеями и никогда им не предшествовали. В этом обществе постоянно из убеждений создавались интересы, никогда интересы не вызвали убеждений. Все политические революции были там, по сути, революциями нравственными. Искали истину и нашли свободу и благоденствие".

Чаадаев был нашим для Герцена, который первым правильно оценил трагедию одинокого мыслителя с Басманной. Нашим он стал и для моего поколения. Чаадаев был и останется "большой совестью" русского народа, высшим судьей для западников и славянофилов, социалистов и либералов, ибо он любил родину, как любили ее Петр Великий и Александр Пушкин — с открытыми глазами.

Вето на Струве

К 1971 году завершился мой переходный период, надо было выбирать тему для курсовой. И здесь судьба меня столкнула с самым оригинальным преподавателем и человеком моей студенческой поры — Дмитрием Дмитриевичем Столяровым. Дим Димыч, как его ласково называли за глаза студенты и коллеги, был человеком вне времени и пространства. Его истинной жизнью было пребывание в истории и мышлении. За маской скромного доцента кафедры истории экономических учений скрывался настоящий ученый-энциклопедист, искатель истины. Так же, как и в Асмусе, в нем жил неистребимый дух отстаивания подлинных ценностей перед агрессивностью вульгарного марксизма.

Д.Д. Столярова в тридцатые годы судьба забросила в Среднюю Азию, в Ташкент. Молодой инструктор ЦК компартии Узбе-

Владимир ДИМОВ

ГЛАЗАМИ ЧАЩКОГО

Так называется очередная книга Почетного члена Всемирного клуба одесситов — Владимира Александровича Димова. Подзаголовок к книге вводит читателя в биографию автора: "Об одесском романтизме, университетском свободомыслии и реформах, которых не было".

Сегодня мы завершаем печатание главок из книги, которая вышла в Москве летом 2011 года.

кистана курировал важнейшие гидротехнические сооружения республики. А что такое для Узбекистана вода — объяснять не надо. Значительную часть своего служебного времени он проводил в дальних поездках. Во время одной из поездок на Арал он узнал страшную весть: в Ташкенте произошло землетрясение, город буквально стерт с лица земли, погибла и семья Дмитрия Дмитриевича — жена и дочь. После этой катастрофы он не мог оставаться в Ташкенте.

Надо было жить, и он выбирает науку. С этого времени книги по философии навсегда станут спутниками его жизни. Партийное руководство не возражало против ухода стропитивного сотрудника — уже тогда Дмитрий Дмитриевич вслух сомневался в целесообразности строительства Каракумского канала. Он считал, что реализация этого проекта приведет Арал к экологической катастрофе. Это было сказано задолго до Чингиза Айтматова.

В МГУ Д.Д. Столяров пришел уже кандидатом экономических наук. Второй московский брак оказался неудачным. Жена была равнодушна к профессиональным интересам мужа. Всякий раз, когда он покупал книги, она устраивала истерики. Библиотека Д.Д. Столярова находилась в домашнем чулане. Столяров в течение тридцати лет собрал богатейшую библиотеку дореволюционных изданий классиков философии, политической и социологии. Чего здесь только не было — Платон в переводах Вл. Соловьева, издания "Метафизики" и "Никомаховой этики" Аристотеля, Декарт и Мальбранш, Кант и Гегель, Адам Смит и Рикардо, историки Тьер и Токвиль, книги М.О. Гершензона и первое издание "Вех" 1909 года.

Д.Д. Столяров был настоящим энциклопедистом, его советы и рекомендации были глубоки и надежны, студенты и аспиранты, знавшие его близко, любили этого скромного интеллигентного человека, "белую ворону" на фоне карьеристов и ревнителей марксистско-ленинской идеологии. Писал ли он докторскую? Может быть, но делал это под прессом жены и кафедры, где многие считали Столярова выпавшим из своего времени, чудаком и оригиналом. Уступчивость и интеллигентность, в конце концов, погубили его.

На рубеже 1980 года Дмитрий Дмитриевич получил "новое назначение" — преподавать на вечернем отделении. Для человека, много пережившего, с не вполне здоровым сердцем, это обстоятельство стало роковым. Ему стало плохо во время лекции. Умер Д.Д. Столяров на глазах у студентов.

При всей своей интеллигентности и незащищенности он не был ученым-завзудой. Влюблялся, писал стихи Людмиле Сперанской, самой красивой женщине на факультете, дарил ей цветы и книги. Вокруг него всегда роилась молодежь. Он не реализовал себя в официальной науке, но был большим ученым и мыслителем по призванию. Его взгляды, мягко говоря, не совпадали со взглядами большинства преподавателей. Судьба, однако, преподнесла ему жестокий финал. Нет, не смерть в аудитории. Его жена, не любившая ни Дмитрия Дмитриевича, ни его науку, ни университет, решительно порвала со своим прошлым и прошлым Столярова. Архив его был уничтожен, библиотека, которую он планировал передать Московскому университету, попала в чужие руки. В архивах экономического факультета не сохранилось ни одной фотографии. Хуже беспамьяства ничего не может быть.

Д.Д. Столяров не написал главную книгу своей жизни, его ташкентский и московский дома постигли житейские катастро-

фы. Он не оставил детей. Но в памяти многих истинных учеников и друзей он остался человеком искренних убеждений, преданным науке, представителем традиций свободомыслия — главного предмета в Московском университете.

Когда Д.Д. Столяров предложил мне писать курсовую работу на конкурс студенческих работ, посвященную экономическим взглядам Петра Бернгардовича Струве, я был ошарашен. Что нового мог сказать я о теории стоимости бывшего "легального марксиста"? Я еще больше удивился, когда Дим Димыч сказал, что эта работа потребует глубоких знаний в области западной философии, учений Фомы Аквинского и первых схоластов, знакомства с идеями австрийской экономической школы предельной полезности.

Может быть, я не в полной мере освоил наследие идейных предшественников Струве, но три выпуска его книги "Хозяйство и цена", выпущенные перед первой мировой войной и давшие ему звание академика, я проштудировал основательно. И здесь меня ждало личное открытие. Я познакомился с личностью и духовными исканиями Петра Бернгардовича Струве — удивительного политического мыслителя, историка культуры, социолога, блестящего знатока Пушкина и русской литературы, историографа и лингвиста. Его предки были из остзейских немцев, дед был основателем Пулковской обсерватории, отец — государственным сановником, директором Царскосельского лицея и губернатором. Дома царил культ Пушкина и русской культуры. Но будучи русским по воспитанию и чувствам, как говорил сам Струве, он чувствовал сильное притяжение к мощной немецкой культуре, немецкой науке и литературе. Молодой Струве годами жил за границей, в Германии. На юридическом факультете Петербургского университета он познакомился с Владимиром Ульяновым. Их дружба продолжалась несколько лет. Они разошлись по идейным разногласиям.

В начале 1900-х годов Струве порвал с марксизмом, социал-демократами ленинско-плехановского типа и стал одним из организаторов и идеологов партии конституционных демократов (кадетов), стал ведущим автором сборников-манифестов русского либерализма "Проблемы идеализма" (1902), "Вехи" (1909), "Из глубины" (1918). Духовные метаморфозы автора манифеста РСДРП были нормой для этой эпохи, вспомним судьбу Н.А. Бердяева или С.Н. Булгакова — тот же путь от марксизма к либерализму.

Струве-экономист утверждал: теория трудовой стоимости Маркса — фантом, напоминающий представления средневековых схоластов. Источником стоимости и прибавочной стоимости является не только физический труд, но и капитал, а также предельная полезность товара согласно взглядам представителей венской школы. Детали я, по понятным причинам, опускаю. Впрочем, они и малоинтересны. Тогда мне показалось, что система доказательств П. Б. слишком тяжеловесна. В рамках современной экономической теории этот путь доказательств значительно короче. Моя студенческая работа получила на конкурсе одно из двух вторых почетных мест, первое не было присуждено никому.

Дим Димыч сначала поздравил меня, заявив, что на базе этой курсовой можно сделать интересный диплом. Но спустя пару дней сказал, что такого продолжения не будет — "наверху" не рекомендуют. Так я снова оказался перед проблемой очередного выбора — обстоятельство все настойчивее выталкивало меня из сферы идеологии.

С наследием Струве я столкнулся еще раз спустя год. Поиски интересных книг привели меня на квартиру Алика Гинзбурга. Встреча носила случайный характер. Помню, как сейчас, маленькую квартирку, больше напоминающую книжный склад изданий Бердяева, Солженицына и каких-то "самиздатовских" поэтов. И вдруг мне на глаза попала книга в старом дореволюционном переплете. Я не верил своим глазам: это был третий сборник "веховцев" — "Из глубины" 1918 года издания. Алик сказал, что сборник не продается и что он большая библиографическая редкость. Личный экземпляр Бердяева остался во Франции, второй экземпляр находится в национальной библиотеке в Амстердаме. Этот экземпляр чудом уцелел в годы "красного террора" и, возможно, является единственным в нашей стране. "Могут предложить западное издание", — сказал мой новый знакомый.

Помню, тогда я унес с собой "Самопознание" Н.А. Бердяева и роман-антиутопию "1984". Статью П.Б. Струве из сборника статей о русской революции "Из глубины" я прочитал спустя двадцать лет. Суровые оценки патриарха русского либерализма и сегодня звучат актуально и современно:

"Революция, низвергшая "режим", оголила и разнуздала гоголевскую Русь, обрядив ее в красный колпак, и советская власть есть, по существу, николаевский горюничий, возведенный в верховную власть великого государства. В революционную эпоху Хлестаков, как бытовая символ, из коллежского регистратора получил производство в особу первого класса, и "Ревизор" из комедии провинциальных нравов превратился в трагедию государственности. Гоголевско-щедринское обличье великой русской революции есть непрерываемый исторический факт".

"Старый режим самодержавия опирался в течение веков на социальную власть и политическую покорность того класса, который творил русскую культуру и без творческой работы которого не существовало бы и самой нации, класса земельного дворянства. Систематически отказывая сперва этому классу, а потом развивавшейся на его стволе интеллигенции во властном участии в сфере устройства и управления государством, самодержавие создало в душе, помыслах и навыках русских образованных людей психологию и традицию государственного отщепенства. Это отщепенство и есть та разрушительная сила, которая, разлившись по всему народу и спрятавшись с его материальными похотями и вожделями, сокрушила великое и многосоставное государство".

Струве считал, что "лишь в эпоху уже после падения самодержавия государственная власть в лице Столыпина стала на этот единственно правильный путь. Но упорствуя в своем реакционном недоверии к культурным классам, ревниво ограждая от них свои прерогативы, она систематически отталкивала эти классы в оппозицию. А оппозиция эта все больше и больше прониклась отщепенским, антигосударственным духом. Так подготавливалась и творилась революция с двух концов — исторической монархией с ее ревнивым недопущением измотанных и образованных элементов к властному участию в устройстве государства и интеллигенции страны с ее близоруким борьбой против государства. В этой борьбе интеллигенция, несмотря на грозное предостережение 1905-1907 годов, натравливая низы на государство и историческую монархию, несмотря на все ее ошибки, пороки и преступления все-таки выражающую и поддерживающую единство и крепость государства".

Зинаида ДОЛГОВА

Дерево для тети Тины

Время собирать камни. Время отдавать долги. А этот, безусловно, мой, и пока не оплаченный. Так что надо спешить: почти не осталось людей, которые могут подтвердить мои слова.

Харетина Кондратьевна Казанцева, о которой хочу рассказать, достойна звания "Праведник мира". И душа, о наличии которой все время спорят, настойчиво напоминает мне: "Поторопись!".

В августе 1962 года я в четвертый раз поступала в одесский университет. Перед аудиторией, за которой, возможно, решалась наша судьба, стояла высокая красивая девушка. Ее глаза не оставляли сомнения в том, что мы принадлежим к одной, нежелательной в этих стенах этнической группе. Так я и пошутила, знакомясь с ней.

Но девушка мягко ответила: "Я русская". Многие я не могу простить советской власти, но это стоит первым в списке ее злодеяний: Люба, которая никогда не лгала, Люба, давно знающая, что она удочерена и фактически спасена русской женщиной, вынуждена была сказать неправду. Мы были чужими, а ей очень хотелось учиться, пусть и на вечернем отделении.

Но много позже я поняла, что не это было главной причиной, заставившей ее так ответить. А живущая в Хайфе Любина подруга, Рахель Могилевская, недавно подтвердила мою догадку: Люба, которой соседи в семь лет рассказали правду ее появления в семье Казанцевых, никогда не говорила маме, что ее тайна — уже не тайна.

Нас было трое на том потоке, связанных чем-то незримо, но крепко. И нас любила группа. 6 лет мы, три еврейские заводилы (увы, и Мэри Городецкой-Трифоненко, спустя годы ставшей заведующей отделом восточной литературы самой большой библиотеки бывшего Советского Союза, в котором еврейская литература заняла достойное место, уже нет в живых), дружили. На заседание нашего домашнего кружка считали за честь попасть многие. Доцент Вера Федосеевна Руденко, наш руководитель диплома, так и ответила: "Посчитаю за честь". (Написала "честь" и подумала, что оно больше других определяет суть Любиного характера.) Мы ездили к Грину и к Волошину, когда еще были живы жены — хранительницы этих домов-музеев, мы обсуждали фильмы и книги, читали и переписывали самиздаты.

И меня, а еще раньше Рахель Могилевскую (в девичестве Фридман) поражало, насколько Люба, которая была тоньше, интеллигентнее и, конечно, образованнее своей мамы, никогда не показывала это. Всегда прислушивалась к маминим советам и желаниям.

Сегодня все, что касается нашей с Любой общей молодости, литературных споров, хранится только в моей памяти. И в памяти Любиных сыновей, особенно младшего, который старается как можно больше узнать о маме.

Но есть то, что я хочу, чтобы узнали все. Это не только факт биографии Любы и ее мамы. Это факт нашей общей биографии.

Тогда в университетском коридоре я ответила: "Такие глаза сами говорят, кто их обладательница". Больше мы к этой теме не возвращались. Незачем было. Я уехала с мужем в Новосибирск. Летом приезжала и старалась навестить Любину маму — тетю Тину. Она уже болела.

И вот в один из дней Харетина Казанцева показала мне письмо-треугольник. В семье моих ровесников хранились такие письма. Только не все из их отправителей могли потом перечитать их и вспомнить... Вот и отправителя этого письма Антонина Казанцева не дождалась. И спасенную ею девочку — свою дочку — он ни разу не видел. А обращался в письме он к обеим.

Наверное, пора объяснить все. Ради этого и пишу. Мы сидели с тетей Тиной (так по привычке я и называла ее) в полутемной комнате на Франца Меринга, 59, она держала руку на извещении о гибели мужа и говорила, говорила, как будто чувствовала, что недолго осталось. Вспомнила, какой была веселой, какой была певуньей. Рассказывала, как любила детей, как создавала дворовый детский театр. Она торопилась, пропуская события, годы... А потом вдруг сказала: "Люба ведь не моя родная дочь. Но муж (она кивнула на треугольник) знал, что я взяла ее. Он тогда под Одессой воевал. Я перешла линию фронта. Да какая там линия? Вот это Одесса, а это чуть дальше. Пешком прошла, чтобы рассказать ему..."

В тот день (у меня и сейчас мурашки по коже) я узнала, что до Любы тетя Тина уже пыталась спасти еврейского ребенка, мальчика. Его бросила в подъезд в надежде, что выживет, женщина, которую с десятками других гнали в гетто. "Я прятала его на чердаке. Соседи знали, но никто не выдал. Умер маленький. Не спасла..." Любе в то время уже было 30 лет, а эта женщина слотнула, говоря о смерти чужого младенца. "И тогда я пошла в приют. Некоторых детей прятали соседи. Но потом отводили в приют под чужими именами. Боялись." Настоящей фамилии девочки не знал никто. Так у меня появилась дочка. Когда я сказала мужу, он меня поддержал. Вот только Любушку он так и не увидел..."

Рахель Могилевская, та самая подруга детства, написала мне: "Всю жизнь я поражалась мудрости ребенка, который нашел в себе силы не сказать маме, что соседи, те самые соседи, которые не выдали ее ни румынам, ни немцам, рассказали ей, семилетней, кто она на самом деле. В тех самых выражениях. Чтобы знала свое место". Об этом мне уже много позже рассказала Люба. А Рахель (или Люся, как называли ее в школе и во дворе) узнала от своей мамы, Кипнис Брониславы Григорьевны, которой сама Тина по какому-то наитию рассказала. И восьмилетняя Рахель никогда не говорила об этом с Любой. Наше поколение взрослело рано. И умело молчало.

Удивительно ли, что в школе и потом Люба дружила с еврейскими девочками? Как будто пыталась понять себя. И замуж вышла за еврея. Еще была жива Любина бабушка, мать тети Тины. Я прекрасно ее помню. Сухонья старушка уже не вставала. Когда Люба привела будущего мужа в дом, бабушка сказала: "Выходи за него, Любушка. Бог знает, что делает. Это твоя судьба". Бабушка тоже не знала, что Любе все известно.

Я познакомилась Любу со своей приятельницей Антониной Соломоновной Бобович. Она была намного старше нас, но нас многое связывало. Однажды она осторожно не то сказала, не то спросила, почему Люба так похожа на еврейку. Поняв по моему выражению лица, что я знаю, почему, она только и сказала, что и ей известна правда. На мой немой вопрос ответила, что в переулке Чайковского живут ее знакомые, которые знали Антонину Казанцеву и историю спасения Любы. Мне бы тогда этих людей разыскать. Но мы были молодыми, кто мог подумать, что Люба уйдет так рано... Да и о Праведниках мира я тогда не слышала, и Израиль во мне отозвался разве что гордостью родителей и их друзей, обозначенной в памяти рядом с датой: "1967 год".



В году, если не ошибаюсь, 1985-м я решила поехать в Меджибож. Там в гетто погибли родители отца и его сестра со всей семьей. Памятник жертвам поставили на деньги родственников. Я помню, как приходили к нам люди, собиравшие средства на памятник.

Я никогда не видела своих погибших родственников. Но это место я обязана была посетить.

Вы верите в случайности? Я — нет. Люба вызвалась поехать со мной.

Сегодня в Меджибоже не осталось ни одного еврея. Но тогда мы, пройдя несколько десятков метров, встретили старую женщину, бывшую учительницу. Показав дорогу, она вдруг спросила Любу:

— Из чьей ты семьи, дочка?

Люба побледнела. Фамилия "Казанцева" ничего не сказала старой учительнице. "Удивительное сходство! — сказала она. — Просто вылитая..." И несколько раз оглянулась, уходя.

Я не остановила ее. Любе стало плохо, ее трясло так, что слышно было, как стучат зубы. Она долго не могла прийти в себя. Долго не могла успокоиться: почему хотя бы не спросила, на кого она так похожа?

В 1990 году я с семьей уехала в Израиль. Люба к тому времени уже несколько лет была в отпуске. Вы не знаете, какие секреты могла выдать сотрудница "Комсомольской искры", занимающаяся письмами читателей? Даже если там были жалобы.

Люба начала работать санитаркой. И... поступила в Киевский пединститут на отделение сурдопедагогики. Когда произошла авария в Чернобыле, она была на весенней сессии, которая длилась несколько недель. Через год врачи обнаружили у Любы рак. Первые две операции она перенесла в Одессе. Институт при этом закончила. И работу свою сурдопедагогом полюбила.

Умению не сдаваться, преодолевать трудности, достойно нести материальные и физические невзгоды Люба научилась у своей матери Харетины Кондратьевны Казанцевой. Не было случая, чтобы меня не угостили в этом доме коржиками, состряпанными буквально по рецепту деда из "Колобка". Это умение пригодились Любе и в Израиле, когда, наконец, ее семья получила разрешение на выезд. В Москве в ОВИРе она рассказала свою историю. У нее было письменное свидетельство Рахелиной матери. Ей поверили. Сказали, что исправят записанное в 5-й графе.

В слезах Люба вышла на улицу, где ждали ее сыновья. Только тогда мальчишки узнали, что если бы не бабушка Тина, их могло бы и не быть. Но в Израиле оказалось, что в ОВИРе обманули. Любу записали русской. А она мечтала о дереве в честь своей матери на алее Праведников...

Начались обычные олимовские трудности: иврит, курсы сурдопедагогов. Она была самой перспективной на курсе. Дала блестящий зачетный урок. Впереди, казалось, только хорошее. Казалось. Но Чернобыль догнал Любу и на Земле Обетованной. Чтобы Любу похоронили на еврейском кладбище, мне пришлось на моем еще не окрепшем иврите рассказать всю ее историю в раввинатском суде.

В Москве не поверили, а седобородые раввины поверили.

И теплится надежда, что и в Яд-ва-Шем отнесутся с доверием к свидетельствам пока еще живущих людей, кому доподлинно известна эта история. И потянется к нему, куда, говорят, поднимаются души праведников, дерево в честь Праведницы мира Харетины Кондратьевны Казанцевой.

Токвиль

и

"Старый порядок"

В один из погожих весенних дней 1969 года я бродил по переулкам старой Москвы. Маршрут был традиционный: "Книжная лавка писателей" — "Пушкинская лавка" — "Букинист" в Столешниковом. Книжных сюрпризов не было, в "Пушкинской лавке" купил "Воспоминания" Токвиля. Токвиль знал достаточно хорошо, в моей библиотеке уже была книга "О демократии в Америке" и книга Сореля с биографическим очерком историка. Вдруг рядом стоящий незнакомый мужчина, типичный интеллигент — сходу оценил я — неожиданно вмешался в мой немногословный диалог с продавцом:

— А вы серьезно интересуетесь Токвилем? Мне Токвиль тоже интересен. Глаголев — преподаватель кафедры философии МГИМО.

— А я — бывший студент философского факультета МГУ.

— Я там учился, у меня много знакомых на факультете.

Разговорились. Владимир Сергеевич оказался очень интересным собеседником. Вспомнили знакомых профессоров и преподавателей.

— Самая зрелая и интересная работа Токвиля — "Старый порядок и революция". Она была переведена в начале 1900-х на русский, но с тех пор не переиздавалась. Токвиль неинтересен как политик, но интересен как политический мыслитель. На Западе его высоко ценят как идеолога политических свобод и гражданских прав. Написал он по меркам своего времени немного, но его мысли о французской революции и революциях вообще оригинальны по содержанию и блестящи по форме. Он классик французской литературы, как и другие историки Реставрации, Гизо или Тьер. Может быть, когда-нибудь я напишу книгу о нем, а почему бы нет?

Зайнтригованный этой встречей, я рванул в библиотеку. К моему удивлению и какому-то трудно объяснимому счастью, "Старый порядок" был не в спецхране, а в открытом доступе. Прочитал за один вечер, нашел массу аналогий с нашей революцией, мне сразу показалось, что в этой книге заключена какая-то большая тайна прошлого и ненавязчивый прогноз будущего. Никакой прогресс не может называться прогрессом, никакие административные и экономические реформы реформами, если они ущемляют политическую свободу и гражданские права. Будущее Европы Токвиль связывал с отказом от идеи централизации и тотального контроля государства над обществом, он первым указал на опасность писательских иллюзий, указывал и предостерегал против поспешного отката от достижений старого порядка. Его политическим идеалом была реформистская модель развития общества, исключаяющая классовую борьбу в форме революций и социальных потрясений. Продуктом революции, как правило, становится еще более жесткая централизация, а следовательно, каждый шаг вперед в сторону иллюзорной социальной справедливости окупаются двумя шагами назад в ущемлении Свободы.

Прошли годы. Доктор философских наук Владимир Сергеевич Глаголев на рубеже 80-90-х годов написал несколько действительно интересных книг, в том числе об истоках русской культуры и православия. Среди них книги об Алексисе Токвиле, пророке трагедий XX века, не было.

А жаль!